

Горький Максим

Извозчик

А.М.Горький

Извозчик

Святочный рассказ

Предпраздничная суতোлка, дни всеобщей чистки, мытья и расходов масса мелких расходов к сочельнику, почти дочиста опустошающих карман человека, живущего на жалованье, - эти два-три дня сильно расстроили и без того не особенно крепкие нервы Павла Николаевича. Проснувшись утром в сочельник, он чувствовал себя совсем больным и полным острого раздражения против всех этих условностей жизни, превращающих праздник, время отдыха, в какую-то бестолковую суету, против жены, придававшей этой суете значение чего-то необыкновенно важного, против детей, отчаянно шумевших без призора над ними, прислуги, утомлённой, озабоченной и ничего не делавшей так, как бы следовало.

Он хотел бы стоять вне всей этой "идиотской толкотни", но такая характеристика времени вызвала ссору с женой, и, чтобы успокоить её и себя, он принуждён был вмешаться в события: его откомандировали в магазин, потом на базар за ёлкой для детей, потом в оранжерею за цветами для стола, и, наконец, к пяти часам вечера, сильно утомлённый, плохо пообедавший, с тупой тоской на душе, он получил возможность отдохнуть. Плотнo затворив за собой двери, он забрался в спальню, лёг там на кровать жены и, закинув руки за голову, стал пристально, ни о чём не думая, смотреть в потолок.

В чистенькой и уютной спальне царил мягкий сумрак от зажжённой пред образом лампы, на пол и стены падали мягкие тени, падали и колебались. С улицы доносился шум полозьев по снегу, какие-то крики, стуки, но всё это звучало мягко, убаюкивающе.

- Ах, Коля! Отстань ради бога!

"Это жена кричит на сынишку, он, наверное, ни в чём не виноват, но она устала, и он платится за это. Воспитание детей! Глупо говорить о воспитании детей, если мы сами ещё не воспитаны", - подумал Павел Николаевич.

"Я давеча тоже накричал на неё... Свинство! Впрочем, она поймёт, что это болезненное раздражение, не больше. Она мирится с тем, что я нервничаю. Вполне естественно нервничать, когда положение так незавидно. Жить, вечно работая для того, чтобы достать в месяц сотню рублей, оставляющих неудовлетворёнными более сотни твоих потребностей, да ещё уметь быть здоровым при такой жизни, - это не по силам современному человеку. Терпение хорошо, когда есть надежды на лучшее будущее. И как всё это глупо, мелко, пошло! А между тем вся жизнь в этих мелочах. Работаешь для того, чтобы есть, и ешь для того, чтобы завтра снова работать. Семья. Кто-то предлагал законодательным путём запретить жениться беднякам. Несомненно, что это был сострадательный человек. Что я, с моим заработком, могу дать семье? Ни сноской в смысле удобств жизни жене, ни достаточно хорошего воспитания детям. Глупо всё! И непоправимо глупо, ибо сумма потребностей человека переросла сумму его сил. Это не исправить распределением богатства без того, чтобы не выбросить из жизни нашего брата нейрастеника. Зачем это я философствую? Вот

тоже милая культурная привычка, что-то вроде пьянства, по её воздействию на организм!.."

Он повернулся на бок, поправил подушку под головой и, крест-накрест положив ладони рук на плечи, закрыл глаза.

Ему вспомнился разговор с извозчиком, который вёз его давеча с базара. Это был обтёрханный, хлибкий мужичонка, какой-то несчастный, унылый, разбитый.

- Али я такой мизгирь был год-другой тому назад? Эх ты! Куда те! Я в дворниках в ту пору жил у одной купчихи, у Заметовой. Слыхали? У неё, значит. Жизньё было очень даже приятное. Подручный был, работы мало. Ну, я у безделья и задумался... Над чем? А так, вопче... надо всем... Рази, ежели правильным-то глазом посмотреть на жизнь, - не задумаешься? Дьявол, первое дело. Чуть ты что - а он тебя своим духом и опажнул. Ну, ты сейчас, первое дело, - точку свою и потеряешь, с линии, значит, сшибёшься, и пошёл колобродить. Будто чего ищешь; а чего искать? Первое дело - себя самого надо найти, своё, значит, приспособление в жизни. Нашёл ты это - ну и здравствуй. Так-то...

- ...Купчиха эта, верно, скупащая. Но и деньжищев у неё - страхи! Ужаси! Накопила, дьявол. Капитолина Петровна звать-то её. А куда вот накопила? Спросите её - не скажет. Не знат, ей-ей, не знат! Умрёт ведь, как все люди; уж это первое дело! А рази для смерти-то деньжищи требуются? Очень даже маленько для смерти человеческой нужно! Так-то, сударь мой?

- ...Чево-с? Так точно... Сродственников у ней нет. Одна, как перст. Как сова в дупле, в своём-то дому. Прислуга вся у неё - трое. Кучер, да я, дворник, значит, да Маришка такая есть; злющая стерва - в кухарках... Только всего! Гостят там и разные монашки, странницы и прочие эдакие народы. И как только они её не придушат однажды - богу известно. А надо бы её придушить, - потому как она совсем бесполезная тварь для господа. Но его воля, и ему это знать. Мы не судьи. А что сохранно живёт, это даже очень удивительно. Одна ведь, судите сами! Хлясть её по чувствительному месту разок и - твои капиталы. Надо думать, кто-нибудь догадается про это. Счастлив будет, коли умно сделает! Ну, но, ты, трясогузица!

Извозчик болтал, чмокал на лошадь, ёрзал по облучку и то и дело оборачивал к Павлу Николаевичу своё маленькое, опухшее от пьянства лицо. Глаза у него были серенькие, живые, с красными воспалёнными веками, нос, как луковица, и на обеих щеках сине-багровые пятна от мороза.

- Здорово я пил водку! - восхищённо восклицал он и улыбался во всю рожу от сознания своего удальства.

Павлу Николаевичу казалось, что этот мозглявый философ, мужичонка, где-то тут близко от него, и он ощутил беспокойство от сознания этой близости. Извозчик как бы мешал чему-то. Но это беспокойство, смутное и неопределённое, заставило его только глубже сунуть голову в подушку и поёжиться.

- Баба старая уж, много ли ей надо? Долбануть её разик - она и готова! - говорил извозчик.

- Ну вот, возьми и долбани! Убирайся! - сказал Павел Николаевич, раздражаясь.

- Я не могу. А ты сам - вот это так! Ты барин умный, значит, тебе это сручней.

- Пошёл вон! Чего ты прилез и мелешь ерунду? Я ведь заплатил! крикнул Павел Николаевич.

- Точно что, - спокойно сказал извозчик. - Я уйду, не сердись. Я для тебя ведь больше. Дело очень даже простое и совсем уж верное. Ты это обмозгуй. Куда она, подумай?.. Совсем ни к чему она. А ты человек живой. Средствов у тебя нет. А тут сразу её!

- Хорошо, ступай! Я усну вот немного, - сказал Павел Николаевич просто и спокойно.

- Ну, ну, усни, отдохни. Это хорошо. Прощай.

И извозчик исчез.

- Он не глуп, - сказал Павел Николаевич, садясь на постель. - Да, он прав. Я не Раскольников, не идеалист. Дело верное. Ставка рискованная, но выигрыш велик. О, если бы мне даже десять тысяч... Я сумел бы на них жить! Независимость - вот что такое деньги. Сво-бода-а! Разве я не хочу свободы? А удовольствия? Это ведь иллюзия того, что зовут счастьем и что незнакомо никому. И всё это я беру одним ударом. Моя ставка - жизнь плохая, серая, скучная, выигрыш - жизнь независимая, богатая, полная всего, чем я захочу её наполнить. Мучения совести? Это пустяки, это фантазия. Совесть - это едва ли ощутимо, едва ли есть. Да что мне думать об этом, раз я решил, как поступить.

Когда он решил, он не заметил этого, это вышло как-то между дум, но он всем своим существом чувствовал, что уже решил, и бесповоротно.

- Как мне это сделать? - задал он себе вопрос. И тотчас же оттолкнул его прочь от себя.

- Нет, не надо обдумывать, ничего не надо. Пусть это удастся сразу или не удастся совсем. Сразу, без думы - это лучше. Сейчас же начинать.

Он ощутил в себе страшный прилив энергии, энергии спокойной, уверенной в успехе предприятия, готовой на борьбу со всевозможными препятствиями. И, готовый к делу, он встал с постели, потянулся, напрягая мускулы и озабоченно посмотрел вокруг себя.

- Однако, чем бы мне её убить? Тем топориком, которым колют сахар? Лёгко. Утюгом? Завернутым в полотенце утюгом! Да, да, это очень удобно. Я читал где-то. Прекрасный способ. Мне нужно выйти так, чтоб меня не заметили. Утюг я возьму на окне в прихожей. Ещё нужен ридикюль или какой-нибудь мешочек для денег. Это есть у жены. Она наверное стала бы отговаривать меня, знай она, что я решил. Гм... Это так. Но общепринятые точки зрения не могут удержать меня, человека, с такой энергией и с таким светлым духом берущегося за дело, с этих точек зрения - преступное. Человек - мера всему; первый раз я сознал это и сознал так ясно. Из всех философов только софисты назвались мудрецами, и одни они имели на это право. Да, человек - мера всему. Законы во мне, а не вне меня. Я не колеблюсь значит, я прав. Иду. Это любопытно, помимо всего прочего. Но что так переродило меня? Поистине, никто из нас не знает, что будет с ним в следующую за этой минуту жизни!

Перед дверью купчихи Заметовой Павел Николаевич остановился и пристально посмотрел на фасад дома. Двухэтажный, старый, с облезшей штукатуркой, дом равнодушно смотрел своими четырьмя окнами на улицу и на человека перед ним. А человек стоял и думал:

"Как всё это будет - ужасно любопытно. Меня могут схватить, и тогда всё будет так глупо и так жалко. В сущности, я на пороге к новой жизни. Кто мне отопрёт дверь, что мне делать с ним? Ага, конечно. Это будет пробой, первым уроком".

И он сильно дёрнул ручку звонка, после чего его сердце как бы перестало биться в ожидании будущей минуты. Минут прошло много, пока за дверью не послышались шаги и звонкий голос спросил:

- Кто там?

"Это кухарка Маришка", - сообразил Павел Николаевич и ощупал под полый своего пальто оружие.

- Сосипатра Андреевна дома?

- Дома. А вы кто?

- Скажите... из... от Бирюкова, - вспомнил Павел Николаевич фамилию хозяина лучшего гастрономического магазина в городе.

Щёлкнул ключ, дверь отворилась, и перед Павлом Николаевичем встала молоденькая девушка с чёрненькими живыми глазками. Это его обескуражило.

- А разве Марины нет дома? - спросил он, не переступая порога.

- Она в баню пошла. Проходи, - сказала девушка, ещё шире растворяя дверь и доверчиво рассматривая лицо гостя.

- А! - задумчиво сказал Павел Николаевич, покусывая свою бороду, знаете, это очень жаль. Вы такая молодая и... пожалуй, я ворочусь!

- Да господи! Разве не всё равно? - воскликнула девушка, широко открывая глаза.

- Всё равно, вы говорите? Гм! А, пожалуй, вы правы. Хорошо, я иду дальше. Заприте дверь.

- Сейчас запру; не так же оставлю, - усмехнулась она, и снова щёлкнул ключ и загремел какой-то железный крюк.

Девушка наклонилась к ногам Павла Николаевича, желая помочь ему снять калоши, и в этот момент он, высоко взмахнув утюгом, с силой опустил его на её затылок. Удар был верен и прозвучал так тупо. Девушка глубоко вздохнула, ткнулась лицом в пол и вытянулась на нём. Павел Николаевич слышал, как что-то треснуло и потом ещё что-то металлическое покатило по полу.

"Это, должно быть, у неё пуговица от корсажа оторвалась, - подумал он, глядя на стройное тело, лежавшее у его ног в складках розового ситца. Однако я ведь убил человека. Это не трудно и не страшно. А говорят и пишут, что убить... Ха-ха-ха! Сколько лишнего на свете, сколько лжи! И для чего лгут, говоря о благородстве человека? Для того, чтобы сделать его благородным посредством этой лжи".

- Аннушка, кто пришёл? - раздался сверху женский голос, сухой и твёрдый.

- Это я! - быстро ответил Павел Николаевич и пошёл вверх, шагая по две ступеньки.

- Что вам угодно, батюшка?

Наверху лестницы стояла высокая и худая старуха в тёмном платье, с длинным костлявым лицом и длинной же шеей. Она несколько наклонилась вперёд, пытливо всматриваясь в идущего к ней человека.

"А утюг-то я оставил внизу!" - и на мгновение Павел Николаевич замер на месте. Это не укрылось от взгляда Заметовой.

- Что вам угодно? - громче, чем в первый раз, спросила она и отступила шага два назад. Сзади неё было зеркало, и Павел Николаевич видел шею Заметовой сзади.

- Я от Бирюкова! - сказал он, усмехаясь чему-то и идя на старуху.

- Постой, постой! - произнесла она, простирая обе свои руки.

Павел Николаевич развёл их так, что они охватили его бока, и быстро схватил старуху за горло.

- От Бирюкова! - повторил он, глубоко втискивая в её шею свои пальцы и нащупывая под кожей позвонки. Старуха хрипела и цапалась за его пиджак то на груди, то с боков. Лицо у неё

посинело и вздулось, изо рта вываливался смешно болтавшийся язык. Своими локтями он сжал ей плечи, и она не могла достать костлявыми пальцами до его головы и лица, но пыталась сделать это. Ей удалось, наконец, схватить его за ворот - из рубашки у него вылетел запонка и покотился по лестнице.

"Улика, - мелькнуло у него в голове, - надо найти". Старуха уже шаталась, но всё ещё боролась, толкая его своими коленями и разрывая на нём платье.

- Перестаньте! - вскричал он повелительно и громко, чувствуя её ногти на коже своей груди, и, крикнув, он сильно стиснул руками её горло. Она зашаталась и рухнула на пол, увлекая за собой и его. Он свалился на неё и чувствовал предсмертный трепет старческого тела. Затем, когда ему показалось, что она мертва, он разжал свои руки, освободил её шею и, отирая с лица пот, сел на полу рядом с нею. Он чувствовал себя усталым и раздражённым чем-то - не злым, не зверем, но именно раздражённым и только. Старуха не двигалась, лёжа в изломанной позе. Павел Николаевич смотрел на неё и не чувствовал ничего: ни жалости, ни боязни, ни омерзения к трупу. Он был совершенно равнодушен. Он сидел и думал:

"Однако как легко люди умирают, и как им мало для того надо. Удар куском железа, и человека нет. Всё - смысл, слово, движение - исчезает от грубо ясной причины - и всё это само по себе так неясно. Скверно умирать, стоит ли жить для того, чтобы умереть в конце концов; стоит для этого делать что-либо -- убивать, например? Глупо и пошло! Ну, зачем я всё это сделал? Я уйду, чёрт с ними, с деньгами! Это всё проклятый извозчик".

- А! Ты здесь?

Он, действительно, был тут; он сидел на перилах лестницы, побалтывая в воздухе ногами и с любопытством смотрел на Павла Николаевича. В одной руке у него был кнут, другой он держался за перила.

- Мы давно здесь! - сказал он спокойно. - Управился с делами-то?

- Скотина ты, зверь! Спрашиваешь ты о чём... Ведь я людей убил! Хочешь, я и тебя убью? Ты хоть заслуживаешь этого, зверь! - возмутился Павел Николаевич.

- Что ты убил людей -это верно. Но сердиться на меня за это не надо. Ведь тебе их не жалко?

- Нет, но всё-таки.

- Коли тебе их не жалко - так и говорить не о чем. Да потом, чего жалеть мёртвых? Живых бы - другое дело. Живой человек достоин жалости. Это так.

- Ну, ты не философствуй! - сурово сказал Павел Николаевич. - Ты уходи, и я уйду. Глупо всё это.

- А деньги-то? Деньги возьми! Возьми, попробуй. Может, ты с деньгами-то и счастье найдёшь своё. Деньги надо взять, за этим ты и пришёл сюда.

- Да-а! Это верно. Я возьму.

Павел Николаевич, сидя на полу, схватил голову руками и покачнулся. Одна мысль поразила его.

- Как же это я так равнодушен, я - убийца? Ведь я убил сейчас людей лишил их жизни? Как же это? Где же мои чувства? Совесть? Разве во мне нет закона? Никакого внутреннего закона? Что же это такое? Извозчик, что ты со мной сделал? Ведь я совершенно равнодушен, а? Пойми же, я - равнодушен!

Извозчик хладнокровно сплюнул в сторону и ударил себя кнутовищем по колену. Потом он посвистал, пристально оглядев Павла Николаевича. Он тоже был совершенно равнодушен. И ещё лежал на полу труп задушенной старухи. Павел Николаевич почувствовал не ужас от присутствия смерти около себя и от мёртвого равнодушия извозчика и от того, что все чувства в нём самом тоже замерли, - нет, его охватила тупая леденящая душу тоска, только тоска! Ему захотелось закрыть глаза и вытянуться на полу так же, как мёртвая женщина. Она хотя и была задушена им, но он чувствовал её как бы сильнее себя. И он никак не мог взглянуть в лицо извозчика, который всё что-то насвистывал такое грустное и в то же время насмешливое. Вот он перестал свистать и заговорил.

- Это ты напрасно жалобные-то слова говоришь. Я в них не верю... Да, брат. А что ты равнодушен, это я знаю. Чего тебе беспокоиться чувствами? Причины нет к тому. Убил ты, это точно. Так ведь сразу убил. И это хорошо по нынешним временам. Без терзаний разных, ахнул - и готово. Медленно, с прохладцей убивать - это действительно подлость, ежели по совести говорить. А сразу - ничего! Кабы человек говорить мог после смерти, он тебе спасибо бы за это сказал. Потому всё-таки облегчение ты ему сделал, сразу угомонил. А ты бы об живых подумал. Сколько народу через тебя, через каждого из нас медленными муками умирают? Жёны наши... Али мы их не мучим? Друзья... Али мы их не терзаем? Всякие разные люди, которые около нас толкаются... Али они от нас мук не принимают? И всё ты это видишь, и всему этому ты препон не кладёшь. Ну и закрутил ты в этой жизни, оравнодушел. Это я понимаю.

- Что ты такое говоришь? - тихо спросил Павел Николаевич, перебивая странную речь извозчика.

- Дело говорю. Посмотри чистым глазом на жизнь-то. Какой в ней есть порядок? Никакого уважения у человека к человеку нет. Жалости друг к другу тоже нет. Никто никому не спомогает жить-то. Свалка идёт за кусок, и все мы грызёмся. Дележу правильного нет, любви нет. Ты - человек, а прочие все до тебя не относятся? Ну и что? Вокруг от нас с тобой сотни и тысячи гибелью гибнут... И все мы это видим, и все мы это за порядок принимаем. Чего же? Коли это возможно, - и убивать возможно, была бы сила в руке. Конечно, опасно убивать, потому судят за это, но ежели бы не судили, то мы очень даже свободно стали бы друг друга убивать. Потому, хоть спинжаки на нас и модные, но все мы притворяемся больше хорошими людьми, а сердца-то у нас каменные. И никакого в нас закона нет. Поодаль нас законы-то, а в сердцах мы их не носим. Чего же ты захилел? Переступил ты закон, смог это, значит, ты себе верен. Ум у тебя есть, суда ты убежишь, - изловчишься скрыться от него. А людей ты и раньше не жалел. Потому, если бы ты их жалел, рази бы они так трудно жили? Вона! Чай, ты облегчал бы им судьбу-то из жалости. А не облегчаешь, так вот прекращаешь её. Нет в тебе самом никакого запрету и нечего толковать. Пустые слова одни. Снаружи тебя ничем не свяжешь, коли в нутре у тебя разнузданность. Перед самим собой не умеешь стыдиться; люди тебе нипочём. Так-то. Ну и действуй, как хошь.

- Ты осуждаешь меня? - спросил Павел Николаевич.

- Мне что! Али это моё дело? Я ведь тоже человек, как и ты. Чего я тебя буду осуждать, коли и во мне закону нет.

- Что же мне теперь делать? - задумчиво спросил Павел Николаевич.

- Доделывай уж, что начал, - всё равно!

И вдруг извозчик исчез куда-то.

Павел Николаевич глубоко вздохнул и поглядел вокруг себя. Рядом с ним лежал труп старухи, внизу лестницы труп девочки.

По лестнице был разостлан красный ковёр с чёрными каймами. Где-то далеко, во внутренних комнатах, звенела канарейка. Павел Николаевич встал с пола и громко спросил:

- Это сон?

По комнатам прокатился гул, но никто ничего не ответил ему. Он пошёл вперёд по коридору и в дверь одной комнаты увидел кровать.

- Это спальня старухи. Здесь деньги. Возьму деньги. Всё равно! - вслух сказал он.

Под кроватью стояла старинная низенькая укладка. Павел Николаевич, как вошёл в комнату, тотчас же увидел угол укладки, высовывавшейся из-под простыни. Он наклонился, выдвинул её, - она была заперта, но ключ был тут же. Павел Николаевич отпер её, причём замок звучно зазвенел.

Укладка была до верха полна денег, и Павел Николаевич стал их аккуратно перекаладывать в свой ридикюль. Потом он насовал их себе в карманы. Они были такие тяжёлые, эти пачки кредитных бумажек. Он долго рылся в них, и их много осталось в укладке, но он без малейшего сожаления закрыл её крышку.

Потом он вышел из комнаты, спустился с лестницы, равнодушно пройдя мимо двух трупов, и вышел на улицу.

Улица была пуста, шёл снег, и дул сильный ветер. Но Павел Николаевич не чувствовал холода, медленно шёл и всё думал - почему это он так много пережил и ничего не чувствовал?

\* \* \*

...Восемь лет прошло со дня поступка Павла Николаевича.

Его старшему сыну Коле уже минуло девятнадцать лет, одна дочь была невестой, другая обещала через год стать ею, жена Павла Николаевича превратилась из нервной женщины, вечно обременённой заботами о хозяйстве и детях, в солидную даму-филантропку, а сам Павел Николаевич пользовался общим почётом в городе и был первым кандидатом в городские головы.

Деньги старухи пошли ему впрок - он умно распорядился ими. Не боясь ничего, жил покойно, почётно, много работал. Но его характер, простой и общительный, - стал портиться, по общему замечанию знакомых. Павел Николаевич перерождался из нервного, искреннего человека - в человека необщительного, задумчивого, вечно занятого какой-то одной мыслью.

Не угрызения совести терзали его душу, нет, он никогда не давал себе отчёта в том, что сделал, - но его со дня убийства старухи подавлял вопрос:

"Есть во мне внутренний закон или нет?" Чем более удачно укладывалась его жизнь, тем более сильно давил его душу этот вопрос. В день рождества Христова, восемь лет тому назад, весь город говорил о таинственном убийстве старухи и дочери, и Павел Николаевич, оживлённо вступая со всеми в разговоры по этому поводу, зорко следил за собой, ожидая, что вот-вот в нём шевельнётся страх или раскаяние. Но таких чувств не зарождалось в его душе, и тогда он спрашивал себя:

- Да неужели же во мне [нет] закона, который принудил бы меня почувствовать себя преступником?

Очевидно, что такого закона не было в его душе. Но он не мог забыть о том, что человеку свойственны такие ощущения, как угрызения совести, раскаяние, сознание своей

преступности, и всё искал их в себе, - искал, не находил и холодно удивлялся сам себе.

"Куда же всё это исчезло из меня?.."

И жизнь казалась ему странной - не то бредом, не то фантастической жизнью человека, у которого умерло сердце.

Однажды, когда он задал себе вопрос о том, куда исчезли из него человеческие чувства, - пред ним внезапно появился извозчик.

Он был всё такой же замухрышка, как и раньше, и такой же равнодушный философ; время не действовало на его обтёрханную фигуру, не положило заплат на его рваный азым и не увеличило количество дыр на этом азыме. Он появился в кабинете Павла Николаевича, сел на ручку кресла, сдвинул концом кнутовища шапку набок и, поглядев на своего седока, вздохнул.

- Это откуда? - усмехнулся Павел Николаевич. Ему казалось только забавным это неожиданное и таинственное появление извозчика. Это нисколько не смущало и не пугало его.

- Я-то? Я из разных мест... - равнодушно ответил извозчик. - Живёшь?

- Живу, как видишь. А ты кто, чёрт или Агасфер? - снова усмехнулся Павел Николаевич.

- Зачем? Так я, просто себе... творение. Ну, как - закону-то не нашёл в себе? Ищешь всё?

- Ищу, - уже вздохнув, ответил Павел Николаевич. - Ищу, брат, но не нахожу... Странно это, да?

- Очень даже просто, - сказал извозчик. - И не ищи - не найдёшь. Изжил ты законы-то.

- Да почему? - воскликнул Павел Николаевич.

- А потому, что не применял. Не пускал его в ход, в дело. Всё больше рассуждал - какой закон лучше, да так ни одного себе в сердце-то и не вкоренил. Ну, а жизнь-то тебя давила и всё из тебя выдавила. И вот ты дошёл до того, что не только равнодушно смотришь на смерть вокруг тебя, но и сам спокойно убил и спокойно рассуждаешь, зачем убил. Видишь ты вокруг себя одну мерзость, и скверну, и тьму, а в самом тебе никакого свету не возжёт господь. То есть господь-то возжёт, да ты его погасил, мудрствуя лукаво. Ну, и отсохло у тебя сердце и все лучшие чувства с ним. И стал ты как дерево.

- Стой, ты врешь! Я действую. Я тружусь...

- А для чё? Можешь и бросить всё да так столбом и стоять в жизни-то. Тебе ведь всё равно. Разве твоя работа - истинно есть работа? Поди ты! Ты не от сердца делаешь свои дела, а с точки зрения всё.

- Как это с точки зрения? - изумился Павел Николаевич.

- Как? Не понимаешь ты будто! У вас тут есть разные точки зрения - на этом месте одна, на этом другая. Вот коли ты городским головой будешь, для этого места есть своя точка зрения, а полицеймейстером сделаешься другая... Тебе главное, чтобы почёт был, чтобы отвечать той точке зрения, с которой на тебя товарищи привыкли смотреть. А огнём ты никаким не пылаешь делаешь свои дела по мерке да по обязанности. Так ли?

- Пожалуй... Но почему это я такой?



- А ты подумай...
- Ведь я - как мёртвый, поистине говоря.
- А то как же? И в самом деле мёртвый.
- Что же со мной будет?
- Умрёшь, время придёт.
- Это и все другие сделают.
- Ещё бы не сделали! Само собой - сделают.
- А при жизни-то что со мной будет?
- Не зна-аю! - протянул извозчик, покачав головой. - Скверная твоя жизнь, без чувств-то, а? Не говори - знаю, скверная. Жалко тебя, паря. Да я сам тоже равнодушен к жизни-то.
- Что же делать? - задумчиво спросил Павел Николаевич.
- А я почём знаю? Кричи всем, что в тебе закону нету, авось люди услышат...
- Ну, так что?
- Ничего. Услышат - посмотрят в самих себя, может, увидят, что и в них тоже закона нет, и они все, как ты сам, такие же пустые и равнодушные к жизни. Им это на пользу.
- А я?
- А ты жертвой будешь. Это хорошо, жертвой-то быть, за это, слышь, грехи отпускаются...

И он исчез так же странно, как явился. Вдруг исчез. Но и это не поразило Павла Николаевича, как не поразило его появление извозчика. Он слишком был поглощён вопросом о том, почему этот разговор не наполнил его ничем, ни одной думы не зародил в его душе. Он слышал слова, отвечал словами - и звуки не возбуждали в нём чувств. Много в жизни вокруг него раздаётся разговора о жизни, о смерти, о судьбах всего живущего, о будущем и настоящем - во всех этих разговорах он сам принимает участие, но молчит его душа, отсутствует его сердце. Его не пугала, впрочем, и эта внутренняя пустота; но всё-таки странно было ощущать её в себе.

И он думал, усмехаясь:

"Бедные люди! Как они плохо знакомы друг с другом и как мало проницательны. Вот я убийца, но никто не догадывается об этом, и я пользуюсь даже почётом среди людей".

И глядя на своих семейных, любивших его, он тоже думал:

"Жалкие люди... если б вы знали!"

Но никто ничего не знал, и человек без чувств всё жил и поступал так, как будто бы у него были в груди чувства.

Так и текла его жизнь изо дня в день. Он становился всё более внутренне равнодушен к жизни, но продолжал действовать по примеру, по привычке, по обязанности. Мёртвый духовно, он творил мёртвые дела и знал, что они безжизненны. У него не было души, и он не мог вложить в жизнь душу. А пустота в нём всё росла и развивалась - и это становилось мучительно неловко.

С внешней стороны ему не на что было жаловаться. Его почитали и уважали, считая честным, деятельным человеком. Но это не удовлетворяло его. Все ощущения гибли в нём, как маленькие камешки, брошенные в бездонную пропасть, - прозвучат и исчезают бесследно.

- Неужели нет во мне закона? - всё чаще и чаще спрашивал он себя.

Приближался день его выборов в городские головы. Он не радовался, хотя знал, что его выберут. Откуда-то текли к нему деньги, и слава о нём, как о человеке почтенном, достигала его ушей. Но это не приносило ему с собой ничего. Ему нечем было чувствовать, нечем радоваться, нечем плакать. Люди, у которых жизнь высушила сердце, знают цену такого существования.

Не чувствовать в себе желаний - значит не жить. И Павел Николаевич иногда говорит себе:

- Хорошо бы иметь какое-нибудь желание!

Но некуда было вместить его - у человека отсохло сердце оттого, что он увлёкся возможностью быть равнодушным к жизни и был равнодушен к ней, сначала не замечая этого за собой, а потом потому, что умертвил своё сердце равнодушием ко всему, кроме себя.

И вот наступил день итога; от него никогда и никуда не уйдёт человек. Это был день выборов в головы, когда Павла Николаевича уже выбрали и толпа знакомых горожан собралась к нему с поздравлениями и на обед. Сели за стол, и ели, и говорили похвальные речи. Было шумно и весело, как всегда бывает в таких случаях.

Павел Николаевич принимал поздравления и тосты к презрительно думал о людях, собравшихся вокруг него.

Все слепые, жалкие, все живут вне действительной жизни - жизни сердца. Ни у кого нет чутья - того чутья, которое издали отличает хорошее от дурного. Но есть ли хорошее и дурное?

Как шумят все эти люди! Зачем?

И вдруг в голове его вспыхнула острая мысль, наполнившая сразу всё существо его безумным желанием испугать, изумить, раздавить этих людей... Он взял в руки бокал вина, встал и, когда все замолчали, ожидая, что он скажет, он сказал:

- Господа! Мне глубоко лестно, меня глубоко трогает ваше внимание так обыкновенно начинаются речи людей в моём положении. Я не могу так начать свою речь, не могу. Я полон других чувств... Господа! Меня глубоко изумляет и страшно возмущает всё то, что вы тут говорите. Глупо всё это и неуместно, совершенно неуместно. Вы меня не знаете... Положим, я тоже не знаю о вас ничего, кроме того, что все вы духовно слепы и жалки; поэтому жалки вы мне. Слышите? Знаете ли вы, кто я? Я, уважаемый всеми вами, как вы говорите, я - убийца! Это я восемь лет тому назад убил девочку и старуху Заметову... Я... Что? Ха-ха-ха! Это я, я! А вы целовали меня, преклонялись предо мной, сначала как богачом, потом как общественным деятелем... А разбогател-то я с денег старухи... Вы меня не считаете сумасшедшим, нет ведь?

Все чувствовали себя страшно оскорблёнными его речью и поэтому не сочли его помешанным, каким наверное сочли бы, если б он покаялся пред ними смиренно и тихо. Но он оскорблял, издевался, и глаза его блестели огнём внутренней силы, а не безумия. Сильные всегда возбуждают ненависть у слабых.

Все заволновались, затолпились.

- Полицию! - крикнул кто-то, и явилась полиция. Опьянённый своим подвигом, Павел

Николаевич всё говорил, решительно и громко:

- Во мне закона нет, и сердце моё умерло! Храните сердца ваши от разрушения - вкорените в них закон. Не будьте равнодушны, ибо равнодушие смертоносно для души человека!

Но он был преступник... Как могли видеть в нём пророка? На него смотрели со злобой и ненавистью, а он отвечал всем презрением и сарказмом сильного.

- Вот это так! - сказал извозчик, вдруг появляясь пред ним с улыбкой восхищения на своём маленьком морщинистом лице.

- Вот это так, это дело! Так и надо было давно бы ещё. Теперь ты будешь страдать. И страдай - это хорошо! Теперь у тебя есть крест. Всегда надо иметь крест на вые своей. Это - первое дело для жизни! Страдай, неся его, и воспитаешь душу свою чисту... Без креста невозможно. А с ним всегда в жизни точку найдёшь, твёрдую точку. Теперь ты оживишься страданием-то твоим. И путь есть у тебя: к богу ты придёшь... Убил? Ничего! Разбойника помнишь? Прощён был, а всего восьмью словами господу помолился. Теперь ты, брат, осмыслился. Иди себе, страдай. Про людей не забудь. Не многим они лучше тебя...

Всё стало как-то линять вокруг Павла Николаевича: всё исчезало куда-то, и появлялся свет, красный, дрожащий - свет, от которого глазам было больно.

Земля сотрясалась...

.....

Перед Павлом Николаевичем, когда он открыл глаза, явилась фигура жены в ночном дезабилье, с утомлённым лицом и нервно дрожащей верхней губой; в одной руке держала лампу под розовым абажуром, другой трясла мужа за плечо.

- Павел! пусти меня... Иди к себе... и разденься. Как это удобно спать столько времени одетым!

- Подожди...

- Пожалуйста, нечего... Пойми, что я утомлена.

- Юля! Что я пережил.

- Переспал.

- А? Да... Верно. Это сон - и прекрасно. И знаешь ли ты...

- Я хочу лечь...

- Нет, послушай... Как фантастично! Этот извозчик, пойми - извозчик! Почему именно извозчик?

- Потому, что ты не выспался и бредишь. Уходи же!

- Но, Юленька, я расскажу всё...

- Завтра...

- Ну, хорошо. Чёрт знает, что иногда снится! знаешь - во всём этом есть смысл. Мы, действительно, слишком равнодушны и слишком легко поддаёмся жизни.

Дай мне заснуть и философствуй потом. Только нельзя ли про себя. Ты не хочешь понять,

что я встала сегодня в восемь утра, а теперь третий час ночи.

- Голубонька! Не стану... Молчу...

Он перебрался на свою кровать, и чуть только голова его коснулась подушки, как уже почувствовал сладкое предчувствие обнимающей его дрёмы.

- Сон, ей-богу, интересный... И с моралью. Послушай же, Юля... А то я забуду всё.

Жена не отвечала ему. Огонь лампы подпрыгнул, тени на стенах дрогнули, и комната наполнилась тьмой.

- Осмыслиться. Да, осмыслился... - шептал про себя Павел Николаевич, засыпая.

С улицы в комнату глухо доносилось медное пение праздничных колоколов и порой стук ночного караульщика. 1895 г.

#### ПРИМЕЧАНИЕ

Впервые напечатано в "Самарской газете", 1895, номер 277, 25 декабря.

В тексте рассказа купчиха Заметова в первом случае названа автором Капитолиной Петровной, а во втором Сосипатрой Андреевной.

Рассказ "Извозчик" в собрания сочинений не включался.

Печатается по тексту "Самарской газеты".